

## ЧЕТВЁРТАЯ СКРЕПА

Что-то тянуло меня наружу, воздух, что ли, стал вокруг памятника разреженным, я легко выдал пробку и вышел. Всё было чёрным, словно вода и воздух исчезли, и сплошные массы твёрдого тела надвинулись на меня. Было очень жарко. Я боялся сдвинуться с места и стоял, вцепившись в памятник.

В отчаянье я прижался лбом к памятнику, и тут впервые что-то забрезжило, я потёрся лбом сильнее, и стало ясно; стекло моего шлема было покрыто копотью, сквозь которую я и увидел проблески света.

Я огляделся и оторопел: окружающий меня свет оказался не белым, а красным! Ещё *оседала* тончайшая копоть на вещи, они тускло светились, и сам я словно попал из уютного чрева памятника в урчащее чрево кита, на котором держится Земля.

Осторожно, стараясь не раздражать шагами моё подножье, я медленно стал продвигаться в красном свете. Почва не прогибалась, значит, вряд ли это гладкая мышца желудка. И всё-таки страх не покидал меня, хотя я как материалист понимал, что если бы это был желудок, то был бы и желудочный сок... А как идеалист я понимал, что если это всё-таки чрево, то всё должно кончиться благополучно согласно преданию. А вот и след, который остаётся за мной, отчётливые следы ботинок – в желудке бы не было следов.

Небо зияло зловещим зевом, оно заболело ангиной. Пунцовое солнце застыло в нём, а памятник выглядел издали красным пасхальным яйцом.

Но никого не было видно. Ни одного непотомственного на земле. Ни одного потомственного в небесах и под землёй. Где они? Где их красные кровяные тельца? Или они здравствуют где-нибудь в ином свете – в свете своих последних решений?

Я слышу пульс опустевшего мира, бьётся его неопустевшее сердце, я зажимаю уши и слышу шум собственной крови.

Перед глазами печальное марево, дразнящий своей пустотою пейзаж, где нет ни одной живой души. Я закрываю глаза и вижу цвет крови. Своей.

Я кричу, но мой крик – крик вопиющего в пустыне, я закусываю губы и чувствую вкус крови.

Кроваво-красные розы расцветают в воображении. Я заблудился в ночном лабиринте розы.

Ночь, как бутон, смыкается над моей головой. В меня впиваются шипы звёздного света. Я боюсь аромата, я боюсь потерять в нём моё дыхание.

Я боюсь, что моя дорога тоже может увянуть. Вот оно, чудовищное смыкание тех лепестков, между которыми я когда-то проскользнул в этот лабиринт.

Я действительно шёл в лабиринте. Это был лес, состоящий из высоковольтных вышек, возможно, здесь находились электроды, управлявшие реакцией, которая выжгла все прочие цвета. Сплошная электрификация плюс полное исчезновение пейзажей!

Я шёл долго, наконец я дошёл до края купола, он полыхал, но просвета в нём не было.

Так я шёл, пока не вступил в оранжевый свет. «Зрящий имеет своим объектом себя». Подняв глаза, я увидел над собой раскрытый купол оранжевого космического парашюта, и мне опять почувствовалось, что я лечу вместе со всей окрестностью. И я тоже оранжевый, и, когда я приземлюсь, меня легко разыщут, как и всё оранжевое, бросающееся в глаза.

Здесь впервые меня осенило, что надо как-то дать знать о себе. Проще всего поступить традиционно – найти бутылку и запечатать в неё рукопись.

Но, как назло, бутылки если попадались, то уже разбитые, как будто их потребители боялись не только проникновения рукописей в сосуды, но и прочтения надписей на сосудах, говорящих об их составе.

Свет был ярким и сильным, глаза стали уставать, я прикрыл их ладонью, потом вовсе закрыл и пошёл, держась за край купола. Он был прохладен и влажен, а это было приятно, я думал о влаге, сквозь которую мне пришлось пройти.

Я снова открыл глаза и увидел, что я не лечу, что оранжевое пожелтело, а часть колпака, за которую я держусь, имеет очертания жёлтого дома, с нарисованными неуверенной, видимо детской, рукой окошками и дверями. Ладонь, которой я касался стены, стала чёрной, она прочертила за собой ясный след. То ли копоть, то ли вода, которой смывали художества, была такой мутной? Скорее второе, ведь в ней должны быть частицы земли, взвешенные после труда водолазов, а также масса смутных слухов. Я попробовал протереть нарисованное окно, и стали проявляться буквы, скоро я смог различить слова, затем предложения. Письмена были записаны столбиком. Я стал их разбирать по порядку, протирая окно. Первым было следующее:

Вначале был хаос. Перемешаны были  
Соль и свинец, золото, медь,  
Камень, свет и вода. Человека  
Ещё не было. В хаос  
Из хаоса пришёл человек.  
Из хаоса своего подножья  
Он добывал железо,  
Золото, медь, соль и свинец.  
Так исчезло подножье.  
Но с этой добычей  
Человек устремился за светом  
Туда, где скрывался  
Хаос новых подножий.  
Вокруг  
Создавался железный порядок:  
Не было земли,  
Возникали пыль, песок и зола.  
Не было моря,  
Возникали соль, и вода, и подводные камни,  
Не было звёзд,  
Возникали огонь, свет и зола.  
И лишь в человеке

Совмещались ещё  
Соль и свинец, золото, медь,  
Камень, свет и вода. Но Человека  
Уже  
Не было.

Это было похоже на мотто, на эпиграф, так как было написано иным почерком, чем другие надписи. Почерк был каллиграфический, что было особенно удивительно при письме на таком древнем языке, древнем для этого Ареала, а для меня, по крайней мере, старинном.

Я перешёл к написанному дальше:

В одном  
некогда бывшем Ареале  
взрослые  
расхватывали все детские игрушки, –  
потому что дети  
не доросли до прилавка.

Протезы для безногих  
расхватывали двуногие,  
пока безногие ковыляли на костылях.  
«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЕЗДЕ ВПЕРЕДИ!» –  
шутили двуногие,  
выбегая из магазинов  
на четырёх ногах.

Протезы для безруких  
расхватывали двурукие,  
потому что безруким  
нечем было на них заработать деньги.  
«СВОЯ РУКА – ВЛАДЫКА!» –  
шутили двурукие,  
расталкивая очередь при выходе  
четырьмя руками.

Радио сообщило:  
«Поступили в продажу слуховые приборы».  
И те, кто прослышал,  
расхватывали со скоростью звука  
усилители слуха и говорили при этом:  
«ИМЕЮЩИИ УШИ ДА СЛЫШАТ».

Известили светорекламы:  
«Появились глазные протезы».  
Увидели зрячие,  
расхватывали  
стеклянные очи  
и говорили при этом  
бестолковым слепым:  
«ЗА ВАМИ ГЛАЗ ДА ГЛАЗ НУЖЕН!»

И пока  
до безголовых дошло, головастые всё схватывали  
и говорили при этом:  
«ХОРОШО,  
КОГДА ГОЛОВА СВОЯ НА ПЛЕЧАХ,  
НО ОДИН УМ ХОРОШО,  
А ДВА – ЛУЧШЕ,

к тому же  
будет на кого что свалить:  
С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ!»

Наконец, написали во всех газетах:  
«Да имейте же СОВЕСТЬ!»  
И пока  
бессовестные рассуждали:  
на черта нам эта совесть,  
имушие совесть  
всё расхватали  
и говорили при этом:  
«У НАС ЖЕ СВОБОДА СОВЕСТИ,  
так что теперь у нас  
БУДЕТ СОВЕСТЬ И ДЛЯ ПРОДАЖИ!»

А всё началось с того, что в одном  
некогда бывшем Ареале  
взрослые расхватали  
все детские игрушки,  
потому что дети  
не доросли до прилавка.

Меня удивило упоминание о газетах. Неужели они до меня не доходили только потому, что на памятник нельзя было прикрепить почтовый ящик? Но что меня обрадовало, это предположение, что, если есть запись, значит есть надежда на встречу с кем-то владеющим общим со мною языком. Я стал читать дальше:

В одном  
некогда бывшем Ареале  
запретили  
питаться чем-либо иным,  
кроме птичьего молока.

И покорные вымерли.

В живых остались  
лишь власти,  
утвердившие этот запрет,  
но тайком потреблявшие мясо.

И сосланные  
в отдалённые места  
враги запрета,  
посаженные  
на грубую пищу.

Это сообщение ещё более обрадовало, поскольку вселяло надежду на то, что есть ещё где-то отдалённые места. Кстати, и грубая пища мне бы сейчас не помешала. Следующий, сквозь смазанную копоть проступивший текст гласил:

В одном  
некогда бывшем Ареале  
жили-были два брата –  
песенник  
и ремесленник.

Один сочинял  
популярные песни,  
другой  
изобрёл  
велосипед.  
И в школах учили:  
«БУДЬТЕ КАК ЭТИ БРАТЯ!»

Но однажды,  
когда все повторяли  
всем привычное «А»,  
оба брата сказали  
никому не привычное «Б».

И их тотчас изгнали  
из некогда бывшего Ареала  
и всем запретили  
петь песни первого брата.  
За исполнением запрета  
следили сыщики  
на велосипедах.

Этот текст подтверждал надежду, что есть ещё где-то место, куда можно сослать и изгнать, значит, где-то ещё продолжается жизнь. Что до песен, то, как и газеты, они до сих пор до меня не доходили, видимо, потому что внутри моего памятника была очень хорошая звукоизоляция. Тем не менее новые строки тоже касались песенного искусства:

В одном  
некогда бывшем Ареале  
у Одних была песня,  
но её отняли  
Другие.  
И сложили Одни  
Другую песню,  
и с этой песней  
пошли на Других.  
И отняли Одни у Других  
свою песню,  
и так исчезли без песни  
Другие.  
Но Одни не знали теперь,  
что им дороже:  
песня, за которую они боролись  
с Другими, или песня,  
с которой они боролись с Другими?  
От сомненья, от несогласья  
исчезли Одни  
вслед за Другими.  
В одном некогда  
бывшем Ареале.

Я думал, что хаос есть хаос, я старался найти в нём что-то закономерное, длительное, достойное памяти, но всё время склонялся к тому, что всё достойное творится либо внизу, под водой, либо вверху, на колпаке. Но песни снизу не поднимались до меня, а песни сверху не опускались до меня. Это было печально, – одни сложили, другие отняли, а мы так и не услышали этих песен. А ведь кто-то ещё и плясал под эти песни... Вот что было написано дальше:

В одном  
некогда бывшем Ареале  
почитали  
людоедов превыше всего.

Прогресс бытия  
люди видели в производстве  
заменителей самих себя  
на благо  
людоедов.  
Но людоеды любили людей,  
а потомственных роботов не сочли за благо.

Люди  
видели своё благо  
в процветании людоедов,  
поскольку вырождение людоедов  
могло лишь свидетельствовать  
о разложении людей.

Людоеды утверждали,  
что человек незаменим,  
и потому люди  
для утверждения  
своей незаменимости  
видели свою задачу  
в создании совершенного  
робота –  
людоеда

В одном  
некогда бывшем Ареале.

Эта тема была мне хорошо знакома, её могли занести в эти края бывшие несъедобные, а в постановке вопроса (конструирование Нового человека) есть отголоски замысла ципроночелов. Но ведь всё это были благие замыслы, и если они не удались, то вовсе не потому, что желали лучшего при наличии хорошего. И какое всё это имеет отношение к проблемам внутри Ареала? Мне опять показалось, что меня хотят околпачить, но ведь не ради меня одного оставляли все эти странные надписи! Каковы же были те письма, которые так рьяно стирали и смывали с «лица» купола? Что там такое могло быть изложено, из-за чего последовательно «смылись» сначала усердные непромокаемые, а затем водолазы и околпачиватели, творцы рукотворной утопии? Нет ли ответа на сей вопрос в последующих письменах?

На развалинах  
некогда бывшего Ареала  
обнаружены были

картины,  
на которых  
развалин не обнаружено,

книги,  
где говорилось, что всё вокруг  
хорошо,

и газеты,  
где утверждалось –  
как много

хороших картин и книг  
в одном  
некогда бывшем Ареале.

Новое упоминание о газетах и книгах, существовавших якобы в Ареале, меня окончательно смутило. Я провёл несколько раз ладонью уже не по копоти, под которой обнаружил эти письма, а по самим письмам, чтобы определить, чем это написано. Тщетно. Я поскрёб ногтем. Так оно и есть! Написано с обратной стороны! Снаружи! Я оглядел ещё раз жёлтый домик, жёлтые окрестности, и до меня дошло – это же настоящая жёлтая пресса, причём явно заколпачная! Каковы злодеи! Это меня снова расстроило, подорвав надежду встретить внутри собрата по перу. Я протёр ещё одно подозрительное окошко и обнаружил любопытное свидетельство об источниках взглядов анонимного автора:

Темнота  
порождает  
слухи,

Слухи  
вливают на вкусы,

Вкусы  
вливают  
на взгляды.

В свете таких взглядов  
каков  
свет?

Да, что-то похожее преследовало меня всю мою сознательную жизнь. Менялась только среда хождения слухов. Конечно, хорошо бы, если бы все тёмные места прояснились простым протиранием прозрачного пространства! А то ещё пытаешься выудить слово из мрака и в итоге улавливаешь только название, само имя мрака: чёрным по белому – мрак! Проступили ещё буквы, словно на старинном пожелтевшем манускрипте:

хочу  
сказать  
не могу

рад бы  
подумать  
не смею

написал бы  
нарисовал бы  
боюсь

сверхискусственное  
отражение  
сверхъестественных  
явлений

подавляется  
потусторонними  
вооружёнными  
силами

Видимо, много воды утекло с тех пор, когда одни творили, а прочие так или иначе искореняли всякое творчество.

Я ещё немного постоял у жёлтого домика, но больше ничего не обнаружил. Наверное, писатель в самом деле чего-то очень испугался, и в результате всё на этом закончилось.

Жёлтый лист упал к моим ногам. Осень. А должна быть весна. Всё перепуталось в жёлтом доме.

Я поник головой и пошёл дальше. Жёлтая роща стояла на моём пути. Свет был яркий, хотелось его отряхнуть с рук, с веток, сбросить с лица. И стволы тоже были желты. Я закрыл лицо руками, чтобы не видеть этого медицински-бутылочного цвета, и стал перебирать в уме доводы в пользу того, что всё-таки должна быть весна.

Когда я снова открыл глаза, по ним резанула зелень. Я шёл среди деревьев с зелёными листьями, по зелёной траве, под зелёным небом... Зелёное небо – опять бутылочное стекло!

Но и здесь под ногами попадались только разбитые бутылки.

Зато появился растительный мир, а значит, должен быть и животный, а от него и до человека – в буквальном смысле слова – рукой подать!

Здесь я не могу не вспомнить о человеке, который когда-то привил мне любовь к растительному миру, не просто к зелени, это сделали до него милые домохозяйки и огородницы, он же, пожалуй, был единственной личностью, до Фазтона конечно, которую я запомнил ещё с детских лет и надолго.

Звали его Прохоров, и он был направлен по распределению в наш город ботаником; так как не во всех городах был растительный мир, то хотя бы ботаники должны были быть в каждом.

Он приехал, снял комнату с большим окном и увешал стены гербариями, поставил в угол чемодан с атласами, лёг на пустую кровать и уснул на ней до утра. Я это запомнил, это была наша большая комната, а он стал нашим квартирантом.

Днём он впервые ушёл на службу, справился с ней, а вечером снова вернулся в комнату с большим окном и глядел в него, а за ним на другой стороне улицы светилась витрина Ателье мод.

Так было несколько дней, и, наконец, Прохоров не ограничился наблюдением из окна, вышел на улицу и приблизился к светлой витрине. За стеклом стояли три женщины: брюнетка, блондинка и шатенка. Блондинка стояла посередине с разведёнными руками, лицо её было невыразительным и безмятежным, но где-то в его глубине, почти сдвинутая к затылку, таилась – Прохоров это заметил – свёрнутая в спираль улыбка.

И это корень лица. Надо знать законы роста, чтобы это заметить. Обычно думают, что улыбка – это цветок. И это верно, потому что у людей, в отличие от растений, цветок и корень почти совпадают.

Прохоров вернулся в комнату с гербариями и долго рассматривал какой-то окостеневший цветок. Вскоре и в нём возникла улыбка, он оставил цветок в бокале и вышел.

Он зашёл теперь в дверь Ателье, долго не выходил, а потом вышел вместе с мастером, который держался очень натянуто, и они прошли вместе до пивного бара, где стали пить пиво. Они пили и говорили, и натянутость мастера постепенно смягчалась, в конце концов они удовлетворённо подали друг другу руки и расстались.

На следующий день ботаник Прохоров, взволнованный против обычного, поспешил со службы, чтобы переодеться в выходной костюм, а он у него был, и, переодетый, он вышел на улицу, где встретился с тонкой блондинкой, лицо которой уже не было неподвижным, когда он поклонился и подал ей руку.

Они пошли по улице, знакомых у них ещё не было, тем не менее прохожие оборачивались, а некоторые заговаривали с ними, и те отвечали, особенно сам Прохоров, который не ограничивался жестами, но охотно говорил и знакомился со всеми.

Так скоро к ним привыкли, и у них почти не осталось незнакомых, а на вечерних прогулках им часто приходилось беседовать со многими, которые, зная уже назначение Прохорова, расспрашивали его о растениях, могут ли какие из них прижиться на Луне, или проще, как взрастить в нынешних домашних условиях аспарагус или рододендрон, и ещё много всяких вопросов к нему, хотя притягивала всех именно его спутница, которая не вмешивалась в разговор, что делало её ещё более привлекательной.

Прохоров объяснял обстоятельно и мудро, и все прислушивались к нему. Да, эти растения зовут нас ввысь, ибо, не доставая до неба, они мечтали о нём и передавали эту высокую грусть



ещё нашим далёким предкам, обитавшим на них, а потом под ними. Под ними приходили нашим предкам самые высокие мысли. А лист предвосхищает форму сердца, и, когда он опадает, дерево переживает удар, цепенеет до новых листьев, и любой лист – это сердце, которое бьётся один раз в жизни. А корень – это то общее, что сближает растения с людьми и человеческими словами, со всем родом людским, отличие в том, что у растения один корень и тянется он в одну сторону, сторону света, отделённую всей землёй, тогда как само растение тянется к открытому свету, старательно минуя мрак. У человека по-разному. Род человека может тянуться к ещё не обрётённому корню или, уже обретя его, ветвиться из единого имени. Имя, однажды возникнув в роду, становится точкой отсчёта, корнем. Те, кто его взрастили, постепенно теряются во мраке, в почве времени, а те, кто выросли из него, постепенно растворяются в свете, их жизнь открыта для всех взоров, и так они увядают.

Глядя на местную архитектуру, Прохоров тоже сбивался на близкую себе ботанику, утверждая, что и бирманские пагоды и готические соборы суть порождение культа растений, и это самый величественный из культов когда-либо существовавших в животном мире. Животным миром Прохоров именовал всё, не относящееся к растениям, а к растениям относил звёзды, планеты и близких ему людей, обладающих, как он полагал, душой, для которой хотелось быть хотя бы тенью, говорят же так: он следовал за ней как тень. А чтобы иметь тень, надо иметь ясные очертания и собственное светило, чтобы не зависеть от внешнего света. Всё это было непонятно, но все слушали, согласно кивая, и думали про себя, что именно эта его необыкновенная скучность и говорливость привязала к нему его безмолвную спутницу.

Когда же иссякла прозаическая речь, а слушатели не расходились, чтобы ещё побыть рядом с его подругой, он давал им повод для этого, переходя на стихотворную речь.

И среди людей стихи звучали привлекательно, многие терпеливо выслушивали их не перебивая, а Прохоров чуть раскачивался при чтении, словно дерево, голос его играл ударными гласными, и было бы грубым пересечь это течение звуков обычными интонациями, так же как прервать певца неумелым голосом или музыканта неискусными руками.

О музыке Прохоров говорил, что под неё растения растут быстрее, особенно под музыку ладовую, а если музыка сопровождается пением и словом, то они лучше плодоносят, и в этом благотворное действие человеческих хороводов на природу; детские хороводы пробуждают цветы в траве, женские хороводы завязывают плоды на деревьях, а мужские зрелые голоса дают ветвям большую силу для удержания этих плодов. Деревья, вокруг которых водят хороводы, живут дольше, так же и те деревья, на которых вьют гнёзда певчие птицы, дольше не увядают и раньше пробуждаются весной.

Всё это всерьёз заставило многих мужчин заняться ботаникой, они носили в петлицах пиджаков разноцветные бутоны, учились различать запахи цветов, их действие на настроение, изучали вкус трав, их целебные свойства.

Что касается музыки, то её стали с большим вниманием слушать, правда, местное радио не давало возможности отличить ладовую от неладной, а та музыка, которую носили с собой обладатели портативных приборов, как-то не влияла на рост носителей, мало того, если они входили с этой музыкой в лес, то она побуждала к вскарабкиванию на деревья, что при некоторой неловкости носителя отрицательно влияло на состояние растений. Но многие старые деревья всё-таки держались при этом стойко, видимо, за счёт памяти о хороводах, оставивших здоровую сердцевину.

Женщины нашего города подражали спутнице ботаника, они старались быть безмятежными и приучались подолгу молчать, что давалось непросто, так как помолчать было не с кем, немногие понимали молчание, особенно мужчины, требующие музыки прежде всего. А музыка, так им казалось, всегда должна быть вслух.

Так шла окружающая жизнь, Прохоров был всегда в центре общего интереса, как и его подруга, но время шло, и наиболее проникательные уже предвидели с некоторым сожалением, что он должен покинуть их город, и случится это тогда, как только ботаник отслужит положенный срок.

Между тем Прохоров получил несколько писем, по-видимому, официальных, написал сам и отправил письмо, скорее личного характера, затем снял со стены большой комнаты гербарии и сложил в чемодан ботанические атласы. Мумию цветка, которую он всё время сохранял в бокале с водой, он освободил и долго рассматривал её, расправляя пальцами, прежде чем спрятать в одну из больших книг.

Потом он купил билет на поезд и перед дорогой посидел на чемодане с ботаническими атласами. За окном всё так же виднелось Ателье мод. За день до отъезда Прохоров встретился с мастером оттуда, и они опять пили пиво, и мастер, сначала вполне отзывчивый и гибкий, становился всё более хмурым и натянутым. Наконец, он выровнялся и заостенел, они молча пожали друг другу руки и разошлись.

Перед отбытием Прохоров постоял перед витриной, где были три женщины, две из них по краям были запылены, а невыразительное лицо блондинки посередине оставалось безмятежным, и только где-то в глубине, видимая немногим, таилась свёрнутая в спираль улыбка.

Всё это я запомнил смутно, так как был очень мал, потом это смешалось с чужими воспоминаниями, и сейчас, вместе с загадочной женской улыбкой, брезжило в какой-то красивой голубизне, сменившей броскую зелень.

Я шёл уже вдоль реки, берег отличался от воды только очертаниями лазуритовой породы, менее текучей, чем волны, а небо неизвестно где начиналось и где кончалось. От воды рябило в глазах, глядя на узенький стрежень, я видел плывущую лунную дорожку, хотя луны не было, и переливы волн читались как голубое письмо, бегущий по зыбкости почерк.

Я не был настолько надуманным, как Робинзон, чтобы в своём островном одиночестве не думать о женщине. Тем более что я до сих пор не имею достаточно достоверных внешних свидетельств того, что род человеческий ещё где-то процветает. И для меня мука мечты о продлении рода усиливалась предположением, что эта мечта касается продления не личного, но всего человеческого рода.

Я не чувствовал мизантропических приступов Гулливера, падавшего в обморок от прикосновения жены. Я не понимал самозабвенного ригоризма Шерлока Холмса, который весь был в раскрытии преступления. Я ещё не был настолько немощен, как Дон Кихот, чтобы думать о Даме Сердца только для того, чтобы вдохновляться на подвиги. Мне скорей по душе здоровое отношение к жизни, исходя из которого андерсеновская жаба предлагает Дюймовочке свою лапу и сердце. Я сознаю себя ещё зелёным перед ботаническим могуществом Прохорова, способного в любом городе раздобыть блондинку. Я ловил себя на зависти к бывшим водолазам и околпачивателям, имевшим возможность стать потомственными. Я был бы рад снова очутиться среди непотомственных, которых как-то объединяла свободная любовь и погубила, к сожалению, вытекающая из неё слишком свободная ненависть. Я готов был превратиться в любого карлика, чтобы отбить возлюбленную у первого встречного великана, я был согласен назваться ослом, лишь бы иметь свою половину в дихотомическом процессе, я даже пошёл бы на то, чтобы мне наставили рога, сделав козлом, лишь бы было кому это сделать. А уж влезть в шкуру медведя – это уже голубая мечта, слишком голубая даже в этой блаженной голубизне. Я ощупал свою грудную клетку, она была достаточно крепка, я был готов из каждого своего ребра сотворить по женщине, но я не был Адамом, хотя мне казалось, что мы сделаны из одного и того же сырого материала.

Но мне оставалось только мечтать, следя за почерком голубых речных струй. И перед взором возникали не то слова, не то живые текучие видения:

я снова встретил ту девушку  
и сказал что я помню всё  
словно это было вчера  
и оттого так отрадно  
любое моё сегодня  
она же ответила  
что-то было когда-то  
но потом было то и это  
и потому так странно

что я ещё что-то помню  
я же сказал  
моя память  
одевает встреченных мною  
в некий неяркий негаснущий свет  
в голубизну среди любых туч

и без этой голубизны  
никого уже больше не встретишь  
ни ещё ни впервые  
и всё прошлое должно быть настоящим  
чтобы настоящее стало стоящим  
чтобы у него появлялось будущее  
и так у меня  
так у тебя и у нас  
и я не знаю как  
должно быть иначе  
ведь мы это время  
сами показываем  
сами идём  
сами заводим друг друга  
она ответила и улыбнулась  
да да я кажется вспоминаю  
ты был всегда  
несколько странным  
но я расслышал в её ответе  
только вот это  
ты был всегда

Перелистнуть течение невозможно, можно оторвать взгляд от потока и дать ему отдохнуть от памяти, но в голубой дали горизонта над утонувшим воспоминанием висело марево воображения, голубой мираж, – я поднял руку, словно хотел коснуться невидимого полотна.

Я опускаю руку, закрываю глаза, открываю снова, делаю шаг вперёд и вижу море, попадаю из высокой голубизны в глубокую синеву. И мне становится легче. Я уже не думаю о голоде и жажде. Я не удивился даже, откуда здесь неожиданно возникло море, похожее сразу на озеро Байкал и на Великий Тихий океан.

Но я догадывался: сгущение голубизны даёт синь, как сгущение любви переносит нас в детство, уже не золотое, а синее, вечернее, когда зарождается неугасимая духовная жажда, всё ещё лёгкая, не отягощённая жаждой плоти. Детство – колодец вечности.

Я прошёл сквозь твердь былого купола, огромная расселина вывела меня к бескрайнему морю. Что произошло? Быть может, купол треснул от реакции разложения воды? Или это очередная причуда Ареала Независимости, случившаяся независимо от всех замыслов и планов? Я вдруг увидел солнце в синем небе, и это ошеломило меня больше, чем зияние расселины. Не взлетел ли я на иную планету?

Но не стоит заходить так далеко. Легко удостовериться, что моя земля – это наша Земля! Я вдыхаю воздух – настоящий морской воздух, и в то же время земной. Море тоже земное, оно не хочет откатываться от своего берега, каждая волна затягивает мгновение, уходит назад уже не целиком, часть её остаётся, впитанная берегом, она процеживается песком, плотной почвой, подбирается, уже обессоленная, к недалёким корням прибрежных деревьев, сосен и кедров, которые выдыхают море уже по-своему, от этого мне было легко дышать ещё вдали от побережья.

Я входил в море на ощупь, в синеве мне казалось, что есть лишь две среды, разделённые за счёт плотности: синее небо, с синим солнцем внутри, и синее море, в которое я спешил погрузиться, потому что моя собственная синева меня слишком смущала.

Меня тянуло в глубину, которой так не хватает словам. Я верил, что в слове должна быть вода, утоляющая духовную жажду. Она должна переливаться в нём, разливаться на её перепутьях, в ожидании шума крыльев шестикрылого Серафима. Она умывает лицо, но ею нельзя умыться руки. Погружение в неё для неискusstного небезопасно. Захлебнувшийся словом – нежизнеспособен. А искусный живёт под водой тем дольше, чем больше набирает в лёгкие свежего воздуха жизни. Без него можно и не вернуться из древних писем в своё настоящее время. Эта вода не течёт под лежащий камень. И дважды нельзя войти в одну и ту же воду. И поздно вздыхать – сколько воды утекло. И не надо в рот набирать воды. Надо пить, чувствовать вкус и помнить: в слове – вода, утоляющая духовную жажду.

Вода расступалась подо мной, но воздух кончался в лёгких, а дна всё не было видно, только где-то внизу что-то мерцало, подобно гигантской жемчужине. Я рванулся вверх, вынырнул и втянул с силой в себя фиолетовый воздух. Всё вокруг было фиолетовым. Берег тонул в этой фиолетовости, и я, что есть сил, поплыл к нему. Ведь он мог быть плавучим островом, должен быть, как я не подумал об этом! И как всегда в таких случаях, нет никого рядом, кто бы мог надумать – не рисковать! Я попробовал плыть баттерфляем, но быстро сбил дыхание и лёг на спину, стараясь не терять скорости и направления. В поле зрения маячил огромный купол, фиолетовый бутон, возле которого цвело марганцевое солнце, бесформенный колпак злого шута, панцирь гигантской черепахи, и я, подобно зеноновскому Ахиллу, не мог эту черепаху догнать.

Но вот уже форма стала отчётливой. Купол, если судить по пределам видимости, здесь имел форму сердца. Как раз в его расселину я и стремился, между его губами.

Я вышел на землю. Хорошо, что не было ветра, иначе только фиолетовый парус маячил бы на моём горизонте. Я вышел на землю, она была тёплая и сырая, и фиолетовые тени травинок, и подвижные стремительные тени прибрежных птиц писали на ней свои бесхитростные письмена. Я пережил страх и сейчас чувствовал в себе только гордость за свою силу, позволившую мне преодолеть страх. Я оглянулся на море, и оно мне показалось всего лишь огромной школьной чернильницей, прозрачной непроливашкой, а я стоял здесь, на берегу, весь в кляксах, как торопливый ученик той эпохи, когда ещё не было вечных перьев, когда писали медленно, а время обмакивания пера в чернильницу было долгим, позволяло отвлекаться и задумываться, терять нить и находить слова, но плести что-то своё.

Небо было небывало красивое, но мне оно показалось обыкновенной промокашкой, весьма необходимой над этой землёй, застроенной сооружениями, продуманными, но сделанными так, что всё продуманное испарялось в процессе созидания и на каждой вещи оставались следы потери мысли, поворота мысли, наслоения случайностей, творческие ошибки, взлёты фантазии, провалы памяти, но, в конце концов, появляется вещь, здание, город. И видно, как спешили те, кто полагал, что жизнь их меньше времени, нужного для воплощения замысла. Другие же полагали, что другие завершат и исправят любое начинание. Иные жили тем, что накапливали время для чужой жизни, втайне надеясь, что и для своей. И оставляли следы, уходили в песок, если строили на песке, в глину, если верили, что земля – это гончарный круг, а солнце предназначено для обжига сырого материала: иные становились то камнями преткновения, то краугольными камнями, но все цеплялись за свою землю.

Тысячеликий ваятель, что ты вымесишь из этой земли: руками, ногами, с головой и без головы – глиняный горшок? медную монету? бронзовый бюст? Сырая рукопись земли... Всюду след человека: на земле и на море – на море! Я вдруг разглядел в фиолетовых волнах то, что мне нужно, скорее даже учуял, чем разглядел. Я вернулся в воду, уже более осмотрительно, чем в первый раз, – дно ушло тотчас – доплыл до необходимого мне предмета, и вот он уже – я не успел подумать – у меня в руках, поскольку меня накрыло внезапной волной, но я не выпустил горлышка бутылки, я вынырнул и чуть не ослеп от белого света.

Почему-то мне захотелось смеяться, хотя толчок был так силён, что, не бросься я вовремя за бутылкой, меня бы наверняка швырнуло на землю и разбило о камни. Но волна тут же укатилась дальше, а белый свет продолжал дразнить меня со всей первобытной яростью, я так и выскочил на берег, содрогаясь от смеха.

Удивительный день, да и день ли это был, или целая радужная неделя? Я, наверное, долго шёл в свете гигантской радуги. Вначале я думал, что это эффект купола, изменившего очертания после огненного исхода воды. Но длилось это слишком долго, дольше, чем обычный световой день, и тогда я подумал, что радугу порождала гигантская струя, бывшая где-то очень далеко и очень высоко, – как раз первый толчок я пережил благополучно, находясь внутри своего памятника, – это забила первая скважина, выводящая воду и газ, причём её реактивная сила изменила скорость вращения планеты вокруг оси, и день задержался здесь развёрткой радуги, а где-то там, в антиподных местах, к обитателям которых я взываю, там задержалась ночь. Всё встало на свои места после второго толчка – исык реактивный фонтан. Надо ждать восстановления равновесия...

Я обследовал долгожданную бутылку, в ней что-то было, я разбил сургуч и вынул пробку, а затем единственный сырой лист бумаги, на котором можно было прочесть:

Человек  
изобрёл клетку  
прежде  
чем крылья

В клетках  
поют крылатые  
о свободе  
полёта

Перед клетками  
поют бескрылые  
о справедливости  
клеток

Почерк показался мне знакомым. Разве не той же самой рукой было исписано бутылочное стекло купола? Ведь этот кто-то успел побывать внутри клетки, вырвался из неё и оставил о жизни в ней своё свидетельство, которое я так и не понял до конца, но это не значит, что кто-то уразумеет больше. Но вот наконец-то и я смогу послать весть кому-то.

Я нашёл цветочное поле и долго наблюдал пчёл. Цветы цвели, как идеальная вселенная – разноцветная, уравновесившая в себе свет и тепло. Пчёлы разрушали это равновесие, внося подвижность в движение семени, пчёлы были языком, на котором переговаривались цветы. Немота для них была бы смертью, новым беспорядком, в который бы их поверг случайный ветер.

Я нашёл дикий улей и достал воску. Сейчас я запечатаю воском бутылку и пушу её в открытое море.

*Конец Четвёртой скрепки*

\* \* \*

...Погода постепенно установилась, и все забыли о природных неурядицах. Мы с внуком блаженно сидели в цирке. Жонглёр отжонглировал своими шарами, эквилибристы отбалансировали на своих шарах, так что всё ещё крутилось и вращалось в ликующих глазах зрителей, когда в конце программы на арену выкатили огромный шар и оставили его одиноко сиять.

Ждали, что вот-вот выбегут акробаты и начнут перекатывать этот шар и перекатываться через него, клоун будет высмеивать в нём своё отраженье, или выйдет фокусник и заставит его взлететь под купол, или он вдруг раскроется, и из него выйдет сияющая циркачка.

Но шар сиял, и никто не появлялся.

Так, наверное, блестит Луна, если смотреть в сильный телескоп, думал школьник, сидящий на самом вершине. В средних рядах размышлял инженер о материале этой шаровой поверхности: протравленное плавиковой кислотой стекло или новый пластик? Рассеянный портной слева от пожарного выхода считал – сколько можно выточить перламутровых пуговиц из этого шара? – «А он вряд ли полый внутри, – судил кто-то в первом ряду, – судя по тому, как вдавились под ним опилки».

А это был самый обыкновенный жемчуг, настоящая жемчужина, добытая не то в морях чужой планеты, не то в глубинах души человеческой; жемчужина, но такая непомерная, что никто бы не поверил, если объявить, что она настоящая. А какова тогда раковина? Каково море? Кто ловец?

И просто был объявлен конец представления, публика, расходясь, оглядывалась на неразгаданный или никчемный сияющий шар, и во многих умах играло поверхностное сравненье: «Как жемчуг, как настоящий жемчуг!»

